

ТАХАР БЕН ДЖЕЛЛУН

Перевод Гюлюш АГАМАМЕДОВОЙ

Главы из романа «ДИТЯ ПЕСКА»
Париж, издательство le Seuil, 1985 год.¹

Мужчина

Вначале было лицо, вытянутое несколькими вертикальными морщинами, похожими на шрамы от бессонниц, лицо плохо выбритое, разрушенное временем. Жизнь? Какая жизнь? Странное подобие жизни, состоящее из забвения, вероятно, мучило, раздражало и даже ослепляло его. Можно было прочесть или догадаться о глубокой ране, которая открывалась из-за неловкого жеста, внимательного либо недоброжелательного взгляда. Он избегал появляться на ярком свете и прятал глаза рукой. Он страдал от света дня, лампы или полной луны: свет обнажал его, проникал под кожу и обнаруживал там стыд или тайные слезы. Он чувствовал свет на коже как огонь, что сожжет все маски, как лезвие, что снимет с него покров плоти, которая сохраняла между ним и другими необходимую дистанцию. Что с ним будет, в самом деле, если это пространство, что отделяло его и защищало от других, вдруг исчезнет. Он будет наг и беззащитен в руках тех, кто преследовал его из любопытства, недоверия и ненависти; они плохо переносили молчание и ум лица, беспокоящего их одним своим властным и загадочным присутствием.

Свет разделял его. Шум смущал, с тех пор, как он удалился в эту комнату наверху, рядом с террасой. Он не выносил внешнего мира, с которым общался один раз в день, открыв дверь Малике, служанке, приносившей еду, почту и стакан оранжада. Он любил старую женщину, члена семьи. Закрытая и добрая, она никогда не задавала ему вопросов; похоже, их связывала симпатия.

Звук. Высоких или невыразительных голосов. Вульгарного смеха, назойливых песен по радио. Ведер воды, выливаемых во дворе. Детей, мучающих слепую кошку или собаку на трех лапах, потерявшуюся в улочках, где попадают в ловушку животные и сумасшедшие. Шум растений и жалобы нищих. Плохо записанный пронзительный звук призыва к молитве, транслируемый громкоговорителем пять раз в день. Это больше походило не на призыв к молитве, а на побуждение к восстанию. Звуки всех голосов и возгласов, поднимавшихся от города и застывавших как раз над его комнатой, пока ветер не разгонит либо не уменьшит их силу.

У него развилась аллергия на шумы; его пронцаемое, воспаленное тело реагировало на них при малейшем толчке, вбирало в себя и сохраняло их яркими до такой степени, что заснуть было трудно, даже невозможно. Его чувства не стали ущербными, как того можно было ожидать. Наоборот, они стали обостренными, активными, не знающими усталости. Чувства развились и заняли свое место в теле, опрокинутом жизнью, извращенном судьбой. Его обоняние схватывало все. Его нос

¹ Две главы «Дверь четверга» и «Дверь пятницы» были опубликованы в 10 номере Л.А. за 2016 год. В главе «Дверь четверга» повествуется о рождении ребенка, девочки, которую торжественно объявили мальчиком и назвали Ахмедом. В главе «Дверь пятницы» рассказ о взрослении Ахмеда, и удивительной трансформации сознания ребенка, под постоянным неусыпным оком отца-тирана.

притягивал все запахи, даже те, что еще не появились. Он говорил, что у него нос слепого, слух неостывшего мертвеца и зрение пророка. Но его жизнь не была жизнью святого. Она могла бы ею стать, если бы он не был слишком занят.

С тех пор, как он удалился в верхнюю комнату, никто не осмеливался говорить с ним. Ему необходимо было длительное время, может, месяцы, чтобы укрепить части своего тела, навести порядок в прошлом, исправить зловещий образ, созданный его близкими в последнее время, распорядиться о своих похоронах и подчистить записи в большой тетради, где он описывал все: свой интимный дневник, тайны – возможно, одну, единственную тайну – а также набросок рассказа, ключи от которого имелись только у него. Густой, устойчивый туман потихоньку окутал его, спрятав от подозрительных взглядов и злословия близких и соседей, судачивших на порогах своих домов. Белая пелена успокаивала его, склоняла его к отдыху и питала его сны.

Его отсутствие не особо заботило семью. Семья привыкла к тому, что он упрямо молчит либо впадает в неоправданную ярость. Что-то необъяснимое вставало преградой между ним и остальными членами семьи. У него, вероятно, были причины, но лишь он сам мог бы их объяснить. Он решил для себя, что его вселенная принадлежит только ему, и что она превосходит вселенную его матери и сестер – во всяком случае, сильно отличается. Он даже думал, что у них нет своей вселенной. Они довольствовались жизнью на поверхности вещей, без больших требований, следуя за ним, его законами и волей. Они не говорили между собой об этом, но, возможно, они предполагали, что его уединение было вынужденным; он не мог больше владеть своим телом, жестами и лицом, изменившимся вследствие нервного тика, грозящего обезобразить его. С некоторых пор его походка перестала быть походкой властного мужчины, хозяина большого дома, того, кто занял место отца и управлял, вплоть до мельчайших деталей, жизнью семейного очага. Спина его немного сгорбилась, плечи упали; стали узкими и вялыми, словно утратили возможность принять на себя любящую голову или руку друга. Он чувствовал непонятную тяжесть, давящую на верхнюю часть спины. Он ходил, пытаясь выпрямиться. Он волочил ноги, собирая тело, внутренне борясь с тиками, не дававшими покоя.

Ситуация внезапно ухудшилась, хотя ничто не предвещало такого развития событий. Бессонница стала обычным явлением его ночей, настолько она была частой и непобедимой. Но с тех пор, как между ним и его телом обнаружился разрыв, нечто вроде поломки, лицо его постарело, и походка стала походкой инвалида. Единственным убежищем оставалось полное одиночество. Что позволило ему подвести итог всего, что случилось, и подготовить окончательное отбытие на территорию высочайшего одиночества. Он знал, что умрет не от остановки сердца, не от кровоизлияния в мозг или в желудок. Конец наступит лишь от глубокой печали, похожей на меланхолию, надетую на него неловкой рукой, во сне, без сомнения; наступит конец жизни, бывшей исключительной, той, которой невозможно было после стольких лет испытаний впасть в ежедневную банальную рутину. Его смерть будет на том же неземном уровне, что и его жизнь, с той разницей, что он сожжет свои маски, будет обнаженным, совершенно обнаженным, без савана, прямо на земле, которая разъест потихоньку его члены, пока он не станет самим собой.

На тридцатый день затворничества он увидел, как смерть стала захватывать его комнату. Ему доводилось касаться ее и держать ее на расстоянии, словно он хотел показать ей, что она пришла раньше времени, и что ему нужно закончить несколько срочных дел. Ночами он представлял себе ее в виде ползущего паука, уставшего, но

еще достаточно сильного. Воображаемое заставляло деревенеть его тело. Потом он думал о сильных руках, – возможно, из металла, – которые спустятся сверху и схватят грозного паука; они уберут паука на время, необходимое, чтобы закончить работу. На заре паука не было. Он оставался один, в окружении нескольких вещей, в сидячем положении, читающим страницы, написанные ночью. Сон приходил утром.

Однажды он услышал, как египетский поэт оправдывал ведение дневника: «Из какой бы дали ни возвращался, всегда возвращаешься от себя. Дневник иногда необходим для того, чтобы рассказать, чем ты перестал быть». Его намерением было именно это: сказать, чем он перестал быть. «И кем он был?» Вопрос возник после неловкого или выжидательного молчания. Рассказчик, сидящий на циновке со скрещенными ногами, вытащил из сумки большую тетрадь и показал ее присутствующим.

Тайна здесь, в этих страницах, сотканная из слогов и образов. Он доверил ее мне перед самой смертью. Он заставил меня поклясться, что я открою тетрадь не раньше сорока дней со дня его смерти, времени окончательной смерти, сорока дней траура для нас и путешествия во тьме земли для него. Я открыл тетрадь ночью сорок первого дня. Меня окутал аромат рая, аромат настолько сильный, что я чуть не задохнулся. Я прочел первую фразу и ничего не понял. Я прочел второй абзац и ничего не понял. Я прочел всю первую страницу и был просветлен. Слезы удивления текли по моим щекам. Руки стали влажными; кровь не текла, как обычно. Я понял тогда, что владею редкой книгой, книгой тайны о короткой и насыщенной жизни, написанной ночами длинного испытания, хранившейся под большими камнями и хранимой ангелом проклятий. Эта книга, друзья мои, не может ни передаваться, ни быть отданной. Она не может быть прочитана невинными умами. Свет, исходящий от нее, спит глаза, что останавливаются на ней по неосторожности, не будучи подготовленными. Я прочел эту книгу, расшифровал ее для таких умов. Вы не сможете заполучить ее, не пройдя через мои ночи и тело. Я и есть эта книга. Я стал книгой тайны; я заплатил жизнью, чтобы прочесть ее, дойдя до конца, после месяцев бессонницы, я почувствовал, как книга воплощается во мне, потому что это моя судьба. Чтобы рассказать вам эту историю, я даже не открою тетрадь, прежде всего потому, что я выучил ее наизусть, а еще из благоразумия. Скоро, о, добрые люди, день перейдет во тьму, я останусь наедине с книгой, а вы – наедине с нетерпением. Избавьтесь от нездоровой нервозности, присутствующей в вашем взгляде. Будьте терпеливы; роите вместе со мной туннель вопроса и умейте ждать – не мои фразы, они уже вырыты, но песню, которая поднимется с моря и поведет вас по дороге книги, которая слушает время и то, что оно ломает. Знайте, что у книги семь дверей, пробитых в стене, шириной не менее двух метров, и высотой не менее трех гибких и сильных мужчин каждая. По мере надобности я буду давать вам ключи, чтобы открывать двери. На самом деле у вас есть ключи, но вы не знаете об этом; даже если бы знали, вы не смогли бы их повернуть и не знали бы, под каким могильным камнем их похоронить.

А теперь вы знаете достаточно. Лучше нам расстаться раньше, чем запылает небо. Возвращайтесь завтра, если только книга тайны вас не покинет.

Мужчины и женщины молча встали и, не разговаривая друг с другом, рассеялись в толпе на площади. Рассказчик свернул баранью шкуру, положил перья и чернильницы в небольшую сумку. А тетрадь он тщательно завернул в кусок черного шелка и положил обратно в сумку. Прежде чем он ушел, мальчик вручил ему черный хлеб и конверт. Он вышел с площади медленным шагом и скрылся в первых проблесках сумерек.

Дверь субботы

Друзья, сегодня мы должны отправиться в путь. Мы направляемся к третьему этапу, – седьмому дню недели, квадратной площади, рынку зерна, где крестьяне и животные спят вместе, месту обмена между городом и деревней, окруженному невысокими стенами и омываемому естественным источником. Я не знаю, что нам уготовано. Дверь открывается на мешки с зерном. Наш персонаж никогда там не был, а я однажды продал там осла. Дверь вырублена в стене, похожа на развалину, никуда не ведет. Но мы обязаны навестить дверь – немного из суеверия, немного из дисциплины. В принципе эта дверь соответствует отрочеству. Впрочем, период отрочества довольно туманный. Мы потеряли из виду следы нашего героя. Ведомый за руку отцом, он, должно быть, прошел через тяжелые испытания. Время смятения, когда тело пребывает в неопределенности; будучи в сомнении, оно продвигается вперед наощупь. Этот период мы должны вообразить, и если вы готовы последовать за мной, я попрошу вас помочь мне восстановить этот этап в нашей истории. В книге здесь пробел, голые страницы, оставленные в подвешенном состоянии на милость читателя. Вашу милость!

– Я полагаю, что в этот момент Ахмед начинает осознавать, что с ним происходит, и переживает глубокий кризис. Я представляю его, раздираемого между развитием тела и волей отца сделать его мужчиной...

– А я не верю в кризис. Думаю, что Ахмеда убедили, и что он взрослеет по правилам отца. Он не сомневается. Он хочет выиграть партию и принять вызов. Он – мечтательный и умный ребенок и быстро понял, что это общество предпочитает мужчин женщинам.

– Нет, то, что произошло – просто. Я это знаю, я старше всех здесь, может, даже старше нашего уважаемого сказителя, мой поклон ему. Я знаком с этой историей. Мне нет необходимости угадывать или объяснять. Ахмед никогда не расстался с отцом. Его воспитывали вне стен дома, вдали от женщин. В школе он научился драться; он часто дрался. Его отец подбадривал его и щупал мускулы, недостаточно крепкие, по его мнению. И еще он плохо обращался со своими сестрами, боявшимися его. Это нормально, его готовили в наследники. Он стал мужчиной. Во всяком случае, его научили вести себя, как мужчина. Как дома, так и за пределами дома.

– Мы не продвинемся подобным образом, дорогой долгожитель! Я высказываюсь, потому что наша историю спотыкается. Мы в состоянии ее придумать? Сможем ли обойтись без книги?

– А я, если позволите, скажу вам правду: это история сумасшедшего. Если Ахмед в самом деле существовал, он должен находиться в сумасшедшем доме... Поскольку ты говоришь, что у тебя есть доказательства, изложенные в книге, которую ты прячешь, почему бы не дать ее нам.... Мы увидим, соответствует ли эта история правде, или ты все придумал, чтобы отнять у нас время и испытать наше терпение!....

Подул ветер бунта! Вы вольны верить или не верить в эту историю. Но, приобщив вас к рассказу, я просто хотел оценить ваш интерес. Продолжение я прочту... оно впечатляет. Я открываю книгу, переворачиваю пустые страницы.... Слушайте!

«Бывает правда, которую нельзя высказать, ее невозможно даже предположить, она живет лишь в совершенном одиночестве, окруженная естественной тайной, что сохраняется без усилия и является ее корою и внутренним ароматом, запахом пустого хлева или запахом незатянувшейся раны, возникающим в момент усталости или когда появляется неряшливость, если только это не начало гни-

ния, физического упадка; при этом тело может быть внешне нетронутым, потому что страдание исходит изнутри и не может быть обнаружено; неизвестно, оно внутри или снаружи, на кладбище, в могиле, едва выкопанной, едва заполненной увядшим телом, трагическим глазом странного создания, рассыпавшегося при соприкосновении с липкой правдой, совсем как пчела в банке с медом, пленница своих иллюзий, осужденная на смерть, задушенная жизнью. Эта правда, по сути, банальная, меняя время и лицо, протягивает мне зеркало, в которое я не могу смотреться, не испытывая глубокой печали, не той меланхолии молодости, что поддерживает высокомерие и погружает в ностальгию, но грусти, убивающей личность, отрывающей ее от земли и бросающей, словно ненужный хлам, в кучу нечистот или в муниципальный шкаф найденных вещей, за которыми никто никогда не придет, или же на чердак дома с привидениями – территорию крыс. Зеркало стало дорогой, по которой мое тело дошло до нынешнего состояния; оно расплющивается в земле, роет временную могилу и привлекает живые корни под камнями, оно раздавлено тяжестью огромной печали, незнакомой большинству людей; они даже не могут представить себе ее форму, тяжесть и мрак. И поэтому я избегаю зеркал. У меня не всегда хватает мужества предать себя; то есть спуститься по ступеням, которые предписала мне моя судьба и которые ведут вглубь меня, в невозможную суть невыразимой правды. Там лишь извивающиеся черви составят мне компанию. Я часто подвержен искушению устроить свое собственное внутреннее кладбище, чтобы заснувшие тени оживились и встали в хоровод вокруг члена, того, что будет моим, который я никогда не смогу ни иметь, ни показать. Я сам являюсь тенью и светом, ее породившим, хозяином дома-руины, скрывающей общую могилу – и приглашенным, чья рука покоится на влажной земле, и камнем под порослью травы, взглядом, ищущим себя, и зеркалом, я являюсь и не являюсь голосом, что приспосабливается к изгибам моего тела, мое лицо, завернутое в вуаль этого голоса, – разве это мое лицо, или лицо отца, который его создал, или просто вдохнул в меня, пока я спал? Иногда я узнаю свой голос, иногда отказываюсь от него, я знаю, что он – моя самая искусная маска, мой самый правдивый образ, он меня смущает и раздражает; он лишает гибкости тело, покрывает его пушком, превращающимся очень скоро в волосаной покров. Голос смог лишить мою кожу нежности, и мое лицо – это лицо голоса. Я последний из тех, кто имеет право на сомнение. Мне это не позволено. Голос – низкий, прерывистый, действует на меня, внушает мне боязнь, потрясает меня и бросает меня в толпу, чтобы я мог заслужить этот голос, чтобы я нес его уверенно, естественно, без излишней гордости, без гнева и безумия, я должен владеть его ритмом, тембром и мелодикой и сохранять его внутри себя.

Правда убегает; достаточно, чтобы я заговорил, и правда удаляется, о ней забывают, и я становлюсь одновременно и могильщиком и эксгуматором, хозяином и рабом. Голос таков: он не выдает меня... и даже если бы я захотел возвысить его в первоначальном виде, некоторым образом выдать его, я бы не смог и, может быть, я бы даже умер. Я знаю требования голоса: избегать гнева, крика, чрезмерной нежности, шепота, короче, ненормальности. Я нормальный. И я молчу, чтобы растоптать образ, невыносимый для меня. Боже мой! Как эта правда довлеет надо мной! Жестокое требование! Жестокая дисциплина! Я являюсь одновременно архитектором и строением, деревом и его соком, я и другой, я и другая. Ни одна мелочь не должна объявиться, ни извне, ни из глубины могилы, чтобы нарушить дисциплину. Даже кровь. А кровь однажды утром испачкала простыни, говоря о состоянии моего тела, обернутого в белое белье, нарушая уверенность и разрушая архитектуру внешности. На моих бедрах тонкий ручеек крови, неровная линия

бледно-красного цвета. Может быть, и не кровь вовсе, а набухшая вена, проявившаяся ночью, видение прямо перед наступлением утра; однако простыня была теплой, как если бы она обернула дрожащее тело, только что извлеченное из влажной земли. Все же это была кровь, сопротивление тела имени; брызги от запоздалого обрезания. Это было напоминание, гримаса запрятанного воспоминания, воспоминания о непознанной жизни, которая могла стать моей. Странно быть носителем памяти, не накопленной в прожитом времени. Я раскачивался в саду, на вершине горы, и не знал, с какой стороны упаду. Я раскачивался в красной простыне, где кровь растворилась в краске покрывала. Я чувствовал необходимость излечиться от своей личины, снять с себя тяжелое одиночество, похожее на стелю, собирающую жалобы и крики покинутой орды, мечети в пустыне, куда люди сумерек приходят, чтобы поделиться своими печальями и отдать немного крови. Тихий голос разбивает стену и говорит мне, что сон парализует утренние звезды. Я смотрю на небо и вижу белую линию, безупречно начерченную рукой. Идя по дороге, я должен положить несколько камней, вех, меток моего одиночества, протянуть руки, словно желая отодвинуть покров ночи, что внезапно упадет с неба, или небо, которое упадет, как ночь, что я ношу вместо лица, голову, которую не смогу задушить. Тонкий ручеек крови, наверное, это ранка. Моя рука пыталась остановить его. Я смотрел на свои растопыренные пальцы, соединенные комочком крови, ставшей почти белой. Через них я видел сад, неподвижные деревья и небо, загораживаемое высокими ветвями. Мое сердце билось быстрее, чем обычно. Было ли это переживание, страх или стыд? Тем не менее, я ожидал чего-то подобного. Я часто наблюдал, как моя мать и некоторые из сестер клали или забирали куски белой ткани между ногами. Моя мать разрезала старые простыни на куски и складывала их в углу шкафа. Мои сестры пользовались ими. Я все замечал и ждал дня, когда и я потихоньку открою шкаф и положу две или три прокладки между ног. Стану вором. Всю ночь я буду наблюдать, как течет кровь. Затем я исследую капли крови на ткани. Это и есть рана. Похоже на фатум, нарушение порядка. Моя грудь не росла. Я представлял себе груди, что растут вовнутрь, мешая дыханию. Но у меня не было грудей. ... Одной проблемой меньше. После появления крови меня вернули в мое изначальное состояние, и я последовал за линиями руки, теми, что нарисовала судьба».

Дверь субботы закрывается в полной тишине. Ахмед с облегчением вышел из этой двери. Он понял, что жизнь его заключается в том, чтобы поддерживать видимость. Он не исполняет волю отца; у него теперь своя воля.

Bab El Had

Это очень маленькая дверь. Нужно нагнуться, чтобы пройти. Она на входе в медину и соединена с той, что находится на другом конце; её используют для выхода. На самом деле это фальшивые входы. Все зависит от того, откуда приходят; нужно знать, что в каждой истории существуют входные и выходные двери. Ахмед будет часто перемещаться между двумя дверьми. Ему двадцать лет. Он образованный молодой человек, и его отец думает о его будущем с беспокойством. Я предполагаю, что все ожидали такого поворота в нашей истории. События произошли следующим образом:

Однажды Ахмед пошел к отцу в мастерскую и сказал ему:

– Отец, как тебе мой голос?

– Хороший, не слишком низкий, не слишком высокий.

– Хорошо, – ответил Ахмед, – а моя кожа, как тебе она?

- Твоя кожа? Ничего особенного.
- Ты заметил, что я бреюсь не каждый день?
- Да, а почему?
- А что ты думаешь о моих мышцах?
- Какие мышцы?
- Ну, например, грудные мышцы
- Не знаю
- Ты заметил, что они твердые на уровни груди? ... Отец, я отпущу усы.
- Если тебе хочется!
- Отныне я буду носить костюм и галстук..
- Как хочешь, Ахмед...
- Отец! Я хотел бы жениться...
- Что? Ты еще слишком молод...
- А разве ты не женился молодым?
- Да. Но это было другое время...
- А мое время, оно какое?
- Не знаю. Ты поставил меня в тупик.
- Время обмана и мистификации? Я живое существо или образ, тело или власть, камень в засохшем саду или негнущееся дерево? Скажи мне, кто я?
- Почему ты задаешь все эти вопросы?

– *Задаю их для того, чтобы ты и я посмотрели правде в глаза. Ни ты, ни я – не простофили. Я не только принимаю свое положение, но мне оно нравится. Интересует меня. Оно позволяет мне иметь те привилегии, которых я никогда бы не знал. Оно открывает передо мной двери, и мне нравится это, даже если затем я попадаю в стеклянную клетку. Иногда я задыхаюсь во сне. Я тону в своей слюне. Я цепляюсь за колеблющуюся землю. Так я подхожу к небытию. Но когда просыпаюсь, несмотря ни на что, я счастлив быть тем, кто я есть. Я прочел все книги по анатомии, биологии, психологии и даже астрологии. Я много читал, и я выбрал счастье. Страдание, бремя одиночества, я избавляюсь от них в большей тетради. Выбрав жизнь, я согласился на приключения. И хочу дойти до конца этой истории. Я мужчина. Меня зовут Ахмед, в соответствии с традициями нашего Пророка. И хочу иметь супругу. Мы сделаем большой праздник для своих по случаю обручения. Отец, ты сделал меня мужчиной, и я должен им остаться. И как говорит наш любимый Пророк, «совершенный мусульманин – женатый мужчина».*

Отец очень расстроился. Он не знал, что ответить сыну и у кого попросить совета. В конце концов Ахмед требовал логического завершения. Он не все сказал отцу; у него был план. Молчание, наполненное недомолвками. Ахмед стал властным. В доме он заставлял сестер подавать ему обеды и ужины. Он запирался в комнате наверху. Он не позволял себе быть нежным с матерью, редко видевшей его. В мастерской он стал заирать в свои руки дела. Энергичный, современный, циничный, он был прекрасным переговорщиком. Он превзошел отца. Отец согласился с этим. У него не было друзей. Таинственный и грозный; его боялись. Он восседал в своей комнате, поздно ложился, рано вставал. Он и в самом деле много читал и писал по ночам. Ему случалось не выходить из комнаты по четыре, по пять дней. Только мать решалась постучать в его дверь. Он кашлял, чтобы не говорить и показать, что жив.

Однажды он вызвал мать и сказал ей серьезным тоном:

- Я выбрал себе жену.

Мать была предупреждена отцом. Она ничего не ответила. Она не выказала удивления. Ее уже ничто не могло удивить с его стороны. Она уверовала в его сумасшествие. Она не осмеливалась думать о том, что он стал чудовищем. Вот уже год, как его поведение преобразило его и сделало неузнаваемым. Он стал свирепым, чужим. Она подняла на него глаза и спросила:

– Кто это?

– Фатима...

– Какая Фатима?

– Фатима, моя двоюродная сестра, дочь моего дяди, младшего брата моего отца, того, кто радовался рождению каждой из твоих дочерей...

– Но ты не можешь. Фатима больна... У нее эпилепсия, и потом, она хромает...

– Вот именно!

– Ты чудовище...

– Я твой сын, ни больше, ни меньше.

– Но ты будешь несчастным.

– Я лишь подчиняюсь вам; ты и мой отец выбрали для меня путь; я пошел по нему из любопытства, и я забрел немного дальше, и знаешь, что я обнаружил? Знаешь, что в конце пути? Пропасть. Дорога заканчивается прямо на вершине высокой скалы, возвышающейся над большой площадкой, куда случайно попадают нечистоты города; запахи смешиваются, но вызывают не тошноту, а опьянение Злом. О! Будь уверена, я не был в тех местах... Я их представляю, чувствую, вижу!

– Но я ничего не решила.

– Это правда. В этой семье женщины оборачиваются в саван молчания... они подчиняются... мои сестры подчиняются; ты молчишь, а я приказываю! Какая ирония! Как тебе удалось лишиться их малейшей крупинки живости, твоих дочерей? Они здесь, ходят у стен и ждут посланного провидением мужа... какое убожество! Ты видела мое тело? Оно выросло, заполнило свою обитель... я избавился от другой оболочки; она была хрупкой и прозрачной. Я укрепил кожу. Тело выросло, и я больше не сплю в теле другого. Я нахожусь на границе вашего савана. Ты ничего не говоришь. Ты права. Я скажу тебе о другом. Некоторые строфы Корана, которые меня заставили выучить наизусть, приходят мне на ум безо всякой причины. Они проходят через мою голову, останавливаются на секунду и исчезают. «Вот что заповедует вам Аллах о ваших детях: мужчине – долю, равную долям двух женщин»... О! И потом, я не хочу удерживать слова, я оставляю их ветру.. Значит, я хочу жениться и создать семейный очаг, как говорят, теплый семейный очаг, мой дом станет стеклянной клеткой, ничего особенного, просто комната в зеркалах, отражающих друг от друга свет и картинки... Сначала я обречусь. Не будем форсировать события. Сейчас я, может быть, напишу стихи о любви для женщины, приносимой в жертву. Вам выбирать, будет ли это она или я.

О, мои собратья! Наш персонаж ускользает от нас. В моем понимании, он не должен был становиться злодеем. У меня впечатление, что он покинет нас. Это внезапное изменение, неожиданная грубость беспокоит меня, и я не знаю, куда это нас приведет. Я также должен признаться, что меня это возбуждает! Он проклят, преобразен колдунами. Его злоба превосходит его самого. Считаете ли вы, мои слушатели, что он – безнравственный человек, что он – чудовище? Чудовище, сочиняющее стихи! Я сомневаюсь и чувствую себя неловко в присутствии нового лица. Я возвращаюсь к книге. Чернила выгорели. Капли воды, возможно, слезы, затрудняют чтение страницы. Я с трудом читаю:

«Меня обнимают измученные руки моего тела, я опускаюсь в глубину, как если бы хотел убежать. Я прячусь в складке, и мне нравится запах этой долины. Я вздрагиваю при крике кобылы из небытия. Она белая, и я прячу глаза. Мое тело постепенно открывается для моего желания. Я беру его за руку. Оно сопротивляется. Кобыла ускакала. Я засыпаю, обнимая себя руками. Это море, что шепчет на ухо околешней лошади? Это лошадь или сирена? Что за обычаем кораблекрушения, захваченного в плен морем. Я заключен в образ, и высокие волны преследуют меня. Я падаю. Падаю в обморок. Возможно ли упасть в обморок во сне, потерять сознание и не узнавать на ощупь привычные предметы? Я выстроил свой дом из подвижных образов. Я не играю. Я пытаюсь не умереть. У меня вся жизнь, чтобы ответить на один вопрос: Кто я? А кто тот, другой? Порыв утреннего ветра? неподвижный пейзаж? Дрожащий лист? Белая дымка над горой? Струя чистой воды? Болото, посещаемое людьми, потерявшими надежду? Окно, выходящее на пропасть? Сад по ту сторону ночи? Старая монетка? Рубашка, покрывающая умершего? Немного крови на приоткрытых губах? Плохо надетая маска? Белый парик на седых волосах? Я пишу все эти слова и слышу ветер – не снаружи, а в голове; он дует сильно и хлопает ставнями, через которые я вхожу в сон. Я вижу, что одна дверь наклонена. Упадет ли она туда, куда я имею обыкновение класть голову, чтобы принять другие жизни, чтобы ласкать другие лица, хмурые или веселые лица, но я люблю их, потому что это я их выдумываю. Я создал их сильно отличающимися от моего, ужасными или восхитительными, представленными при свете дня на ветках деревьев, подобно предметам колдуньи. Иногда холод лиц убивает меня. Я покидаю их... Ухожу искать в другом месте. Беру кисти рук. Выбираю большие и утонченные. Сжимаю, целую, сосу их. Пьянею. Руки меньше сопротивляются мне. Они не могут гримасничать. Лица мстят мне за мою свободу, все время гримасничают. Поэтому я их прогоняю. Без насилия. Я их откладываю в сторону, складываю. Они страдают. Некоторые начинают кричать. Как совы. Мяукают. Скрежещут зубами. Безразличные лица. Не мужчины и не женщины. Но лица совершенной красоты. Руки тоже меня предают, особенно когда я пытаюсь соединить их с лицами. Главное – избежать краха. Ритуал краха меня преследует. Я рискую все потерять и у меня нет желания оказаться снаружи. Вместе с другими. Моя обнаженность – это моя наивысшая привилегия. Я один могу ее наблюдать. Я один могу ее проклинать. Я кружусь, хлопаю в ладоши. Я топаю ногами. Я наклоняюсь над ловушкой, где я прячу свои создания. Я боюсь упасть и смешаться с одним из этих лиц без улыбки. Я кружусь, голова у меня кружится. Пот проступает на лбу. Мое тело танцует под африканский ритм... Я слышу его. Я вижу саванну и присоединяюсь к обнаженным людям. Забываю спросить себя, кто я такой. Стремлюсь к тишине сердца. Меня преследуют, и я отдаю свой рот лесному пламени. Я не в Африке, а на морском кладбище, и мне холодно. Все могилы пусты. Покинутые. Свистящий ветер – их пленник. Лошадь, окрашенная в синюю краску неба, скачет на этом кладбище. Мои глаза падают и вонзаются в голову лошади. Сумерки накрывают меня. Я чувствую себя в безопасности. В теплых руках. Они ласкают мне спину, и я чувствую их. Это не мои руки. Мне одиноко, и я отступаю. Усталость, либо идея возвращения к себе. Дом. Мне хочется смеяться, потому что я знаю, что приговорен к изоляции, и что я не смогу победить страх. Говорят, что это тоска. Я потратил годы, чтобы приспособить ее к своему одиночеству. Мое заточение добровольно, выбрано и любимо мной. Я извлеку из него еще больше лиц и рук, путешествий и стихов. Я создаю из страдания дворец, где смерти не дадут места. Это не я ее отталкиваю. Ей запрещен вход, страдание самодостаточно. Нет надобности в

сильном ударе. Это тело состоит из волокон, накапливающих боль и наводящих страх на смерть. В этом моя свобода. Тоска отступает, и я остаюсь один, сражаться до зари. Утром я падаю от усталости радости. Другие ничего не понимают. Они недостойны моего безумия. Таковы мои ночи: феерические. Мне нравится их обустроить на вершине скал и ждать, когда ветер их начнет сотрясать, омыwać, отделять их от сна, выводить их из тьмы, раздевать их и возвращать мне в одеянии снов. Все становится зыбким. Я забываю. Я погружаюсь в открытое тело другого. Я больше никого не спрашиваю. Я пью кофе и живу. Ни хорошо, ни плохо. Я никого не спрашиваю, потому что мои вопросы не имеют ответов. Я знаю это, поскольку живу с обеих сторон зеркала. На самом деле я не серьезен. Люблю играть, даже если приходится сделать больно, уже давно я нахожусь над злом, глядя на все издали, с высоты моего одиночества. Странно! Моя грубость, моя суровость открывают мне двери. Я не прошу столько! Люблю время, которым управляю. Вне этих рамок. Чувствую себя немного потерянным. Тогда я становлюсь строгим. Я покидаю избалованное детство раньше предвиденного, я толкаю одних и других, я не прошу любви, а лишь забвения. Они не понимают. Отсюда необходимость проживать мое состояние во всем его ужасе. Сегодня мне нравится думать о той, кто станет моей женой. Я пока не говорю о желании, я говорю о прислуживании. Она придет. Волоча ногу, со сморщенным лицом, беспокойным взглядом, потрясенная моим предложением. Я позову ее в мою комнату и расскажу о своих ночах. Поцелую ей руку. Скажу, что она красива; заставлю ее плакать и оставлю ее в возбуждении; буду смотреть на нее, как она борется со смертью, пуская слюни, умоляя; я поцелую её в лоб; она успокоится, потом уйдет к себе, не оборачиваясь. Я не в депрессии, я раздражен. Я не печален. Я потерял надежду. Ночь ничего мне не дала. Она прошла незаметно. Спокойная, пустая, черная».

Друзья, я говорил вам, что эта дверь узкая. Читаю на ваших лицах замешательство и беспокойство. Эта исповедь нас просвещает и отдаляет друг от друга. Она делает персонаж все более странным. Мрачные письма спутали планы и изменили жизнь нашего героя. Эти письма, хранящиеся в тетради, не всегда имеют дату. Но читая их, их можно отнести ко времени, к которому мы подошли в нашей истории. Они не подписаны, либо подпись не читается. Иногда стоит крест, в других случаях – инициалы или арабески. Они пришли от анонимного мужчины или женщины? Или это плод фантазии? Написал их он сам в своем одиночестве?

Первого письма нет в тетради. Его, вероятно, потеряли. Второе – его ответ:

«Итак, у меня будет жизнь в качестве наказания! Ваше письмо не удивило меня. Я угадал, как вы смогли получить интимные и странные подробности моей жизни. А я не являюсь тем, кто я есть; возможно и то, и другое! Но ваша манера вторгаться в эти вопросы, неосторожность, с которой вы вмешиваетесь в мою мечту, делает вас соучастником несчастья, каковое я могу совершить, или спровоцировать. Ваша подпись – неразличимые каракули. У письма нет даты. Возможно, вы – ангел-ликвидатор? Если да, приходите ко мне, посмеемся вместе».

До востребования! Инициалы! Столько тайн...

«Я нашел ваше письмо под камнем у входа в сад. Спасибо, что ответили. Вы неуловимы. Я жду вас давно. Мои вопросы, без сомнения, не были точными. Поймите, я не могу раскрыть свою личность, не подвергаясь опасности накликать несчастье на вас и на меня. Наша переписка должна остаться конфиденциальной. Я рассчитываю на вашу склонность к тайнам. Замысел, направляющий и ведущий меня к вам, отмечен печатью невозможного. Однако мне нравится идти этой дорогой, с терпением, питаемым вымышленной надеждой, сном, в котором я вас вижу каждый раз, когда у меня жар: там я вижу вас, а вы меня нет; я слышу, как

вы разговариваете сами с собой и где вы ложитесь обнаженной между белыми страницами тетради, я наблюдаю за вами и слеую за вами до изнеможения, потому что вы без конца двигаетесь, бежите. Я хотел бы остановить вас на мгновение, на краткий миг, чтобы посмотреть на ваши глаза и ресницы. Но у меня от вас только нечеткая картинка, возможно, так лучше!»

«Вы приходите ко мне, чтобы следить за мной и наблюдать за моими действиями и мыслями, поэтому я решил навести порядок. Моя комната не очень большая. Параллельные зеркала. Небесный свет, большие окна и мое одиночество делают ее большой. Я ее еще увеличу, почистив мою жизнь и мои воспоминания, потому что нет ничего более громоздкого, чем вещи, оставленные временем на одном из этажей памяти. (Люди говорят в углу памяти, но я знаю, что это этаж; столько вещей там сложено, ожидающих сигнала, чтобы вывалиться и загромоздить мою настоящую жизнь.) В ваш следующий визит вы будете удивлены и даже потеряны. Я не скрываю, что я хочу вашей гибели, хочу ускорить вашу гибель. Вы упадете в сети вашей смелости или просто в канаву, на краю дороги. Но мы будем вместе некоторое время. Не будем выпускать друг друга из виду. До скорого!»

«Не имея времени прийти к вам и не будучи уверенным, что мое присутствие вас не расстроит, я предпочитаю написать вам. Я не буду говорить ни о вашей красоте, ни об изяществе, свойственном вам и охраняющим вас, ни о перипетиях вашей судьбы. Я узнал, что вы пожелали жениться. В общем, красивый поступок! Но похоже, ваша душа заблудилась. Вы посмеете сделать из несчастного, беззащитного создания жертву? Нет! Это недостойно вас! Однако если вы хотите навредить одному из ваших дядей, у меня есть кое-какие идеи для вас. Но я убежден, что у вашего гения амбиции другого размаха! Оставим маневры на лето или осень. Посмотрите, как весна склоняется к нашим телам и деликатно открывает наши сердца. Я пока останусь в тени анонимности, где можно идти по любому пути, особенно по тому, что ведет к вам, к вашим мыслям, к вашей душе, к вашему телу, лежащему рядом с моим....»

«Мой отец болен, я должен отказаться от всех своих планов. Чувствую, что это трудный момент. Идея его смерти преследует меня. Когда я слышу его кашель, мне очень плохо. Похоже, мать не готова к этому испытанию. Я выхожу из своей комнаты и лежу рядом с ней без сна. Слежу за ее дыханием. Я слежу за ней и тихо плачу о себе. Я рассказываю вам сегодня о моем страхе и боли, ведь вы аноним, а это приближает меня к вам. Мне не хотелось бы видеть ваше лицо или слышать ваш голос. Позвольте угадать вашу личность посредством ваших писем; не обижайтесь, если я опаздываю с ответом».

Обмен письмами прервался, освободив место для главного события, решающего испытания, важного поворота, изменившего жизнь нашего персонажа. Смерти отца будет предшествовать серия небольших событий, маневров и попыток, которые усилят волю наследника и придадут его статусу неоспоримую законность.

Bab El Had, как указывает имя, это конечная дверь, стена, возвышающаяся, чтобы положить конец ситуации. Это будет последняя дверь, потому что она закрылась за нами без предупреждения. А я, рассказывавший вам о семи дверях, сегодня и я поражен. Наша история не заканчивается на этой двери. Она продолжается, но она не будет проходить через двери в стене. Она выйдет на круговую улицу, и мы должны следовать за ней с возрастающим вниманием.